

РЕСТАВРАТОРЫ ВРЕМЕНИ



ЭДУАРД СЕРОУСОВ

Эдуард Сероусов

Реставраторы Времени

<https://litres.ru/74193019>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ахмед Насир умеет читать пепел мёртвых миров как чужие лица. Сорок лет назад он подарил человечеству Темпоральный Якорь — способ выхватывать миг из смерти и прищипливать к вечности. На дальнем раскопе Терсиды-9, вместе с дочерью Лейлой, он находит невозможное: свою собственную подпись — в породе, которой три тысячи лет. Кто-то ставил Якоря задолго до него. Открытие обернётся катастрофой, в которой оживший город потребует свою плату, а старая опальная учительница вернётся — с последним предупреждением. Отец узнает, чем он на самом деле сорок лет спасал мёртвых.

Содержание

Часть первая	4
Часть вторая	16
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Эдуард Сероусов

Реставраторы Времени

Часть первая

Ахмед Насир умел читать пепел так, как другие читают лица.

Он сидел на корточках у среза раскопа, где обнажённый пласт уходил в синюю тень, и вёл стилусом вдоль слоя — не касаясь, в полумиллиметре над породой, как приучил себя за сорок лет. Касаться было нельзя: пыль мёртвого мира садится на кожу и уже не сходит, ни с рук, ни с чего другого, — он знал это лучше, чем хотел бы. Прибор нагрелся в пальцах и выдохнул дату голубой строкой поверх камня.

— Поздний горизонт, — сказал он вслух. Называть вещи было привычкой, а привычка держала руки спокойными. — Минус три тысячи двести. Здесь горело долго и горело один раз.

Он умел отличать одно горение от многих. Город, что умирает раз, оставляет ровный чёрный лист, спёкшийся сразу, честно. Город, что умирает многократно, слоится — пепел на пепле, каждый со своей датой, как годовые кольца боли. Этот лежал ровно. Одна смерть, глубокая, окончательная. Ахмеду нравились такие. В них была законченность, а

законченность он уважал больше всего на свете и оттого всю жизнь пытался её отменить.

Над раскопом дрожал воздух — та особенная дрожь, какой не бывает от тепла. Терсида-9 не знала тепла. Здесь стоял ровный музейный холод мёртвой планеты, холод витрины, в которой давно нечего беречь, и всё же над вскрытым слоем воздух шёл рябью, будто на мир смотрели сквозь текучую воду. Ахмед давно разучился замечать эту рябь. Так разучиваются слышать собственное сердце — до того дня, когда оно вдруг сбивается, и ты понимаешь, что слушал его всю жизнь.

— Ты опять разговариваешь с ямой, — сказала Лейла.

Она стояла выше, на кромке отвала, чёрным силуэтом против белёсого неба, и заправляла за ухо выбившуюся прядь — быстрым, привычным движением, которое он знал лучше собственного имени, лучше даты собственного рождения, которую, признаться, иногда путал. За её спиной висели два картографических дрона, неподвижно, как приклеенные к воздуху, и от этого казалось, что у дочери выросли за спиной два тусклых металлических крыла.

— Я разговариваю с городом, — ответил он. — Яма — это то, что от него осталось. Не путай одно с другим. Их всегда путают, и от этого все беды.

— Город умер. Три тысячи двести лет назад, ты только что сам сказал. — Она съехала по осыпи, ловко, привычно, и встала рядом, и от неё пахло стерильным полем скафандра

и, слабо, кофе из модуля; она варила его слишком крепким, как мать. — Ему всё равно, читаешь ты его или нет.

— Ему — да. — Ахмед выпрямился; колени щёлкнули, оба, по очереди, как две маленькие даты. — Мне — нет.

— В этом и разница между нами. — Злости в её голосе не было; они играли эту партию много раз, за многими ужинами, на многих мёртвых мирах, и оба знали расстановку фигур наизусть. — Ты думаешь, что помнить — значит держать. А я думаю, что иные вещи красивы именно тем, что кончились. — Она повела рукой вдоль котлована, и жест вышел широким, хозяйским, будто всё это принадлежало ей: опрокинутые колонны из спёкшегося стекла, улица, застывшая под пеплом, тень чужого шпиля на дальней стене раскопа, тонкая и длинная, как палец, указывающий в никуда. — Вот это. Красиво, потому что это конец. Отчисти его, подними, включи в нём свет — и получишь тематический парк. Мёртвых, которых заставили улыбаться посетителям.

— Или спасение.

— Или чучело, — сказала Лейла. — Рара, чучело льва тоже когда-то было львом. Разница только в том, что лев об этом уже не знает, а мы — знаем и всё равно ставим его в угол и говорим гостям: смотрите, лев.

Он собирался ответить — у него был готов ответ, у него всегда был готов ответ, сорок лет готовых ответов, — но стилус в его руке потеплел не так. Не мягким теплом датировки, ровным, как дыхание, а резко, укусом, будто прибор обжёгся

обо что-то в породе, о что-то, чего там быть не могло.

Ахмед опустил взгляд. Голубая строка над слоем моргнула и сменилась другой — тонкой, дрожащей, красной.

Он знал эту сигнатуру. Он знал её лучше всех живущих, потому что сорок лет назад прочёл её первым — молодой, тщеславный, влюблённый в собственную зоркость, — вычленил из шума мёртвого мира узкий, невозможный узор и дал ему имя. Темпоральный Якорь. Подпись устройства, которое берёт один-единственный миг и прищипливает его к вечности, как булавка прищипливает бабочку к бархату. Открытие, которое он поднёс Консорциуму Наследия на раскрытых ладонях, как поднёс бы дар богам, — и на котором с тех пор стояла вся наука реставрации, вся его слава, все почётные степени, весь остаток его жизни, вся его правота.

Сигнатура была здесь. В слое, которому три тысячи двести лет.

— Пап? — Лейла смотрела на строку; она тоже умела читать, он сам её выучил, склоняясь над её плечом на дюжине мёртвых миров. — Это не наш маркер. Мы не ставили здесь Якорь. Мы вообще ничего здесь не ставили, мы только копаем.

— Не ставили, — сказал он.

— Тогда откуда он?

— Не знаю. — Он погасил строку движением пальца, будто это что-то меняло, будто мёртвое можно сделать неслучившимся, если перестать на него смотреть. — Породе три

тысячи лет, Лейла. Сигнатуре не может быть три тысячи лет. Технологии — сорок. Я знаю точно. Я сам ей сорок лет назад дал имя.

— Значит, кто-то дал ей имя раньше тебя.

Он не ответил. Рябь над раскопом качнулась — или ему показалось, — и впервые за много лет он её заметил, и, заметив, не смог развидеть, как не смог развидеть красную строку под тремя тысячами лет пепла.



Модуль стоял на краю котлована — единственное тёплое пятно на много километров мёртвого камня, маленький жёлтый куб, в котором два человека притворялись, что живут дома. Ночью Терсида-9 открывала своё небо, плотное и богатое, с той стороны рукава, где звёзды стоят так густо, что тьмы между ними почти не остаётся, — и Ахмед не любил на него смотреть. Слишком много света для мира, в котором не осталось никого, кто бы его видел. Свет без свидетеля казался ему неприличным, как накрытый стол в пустом доме.

Марго Реис вышла на связь ровно в срок. Она всегда выходила в срок; это было первое, что он о ней узнал, и, кажется, единственное, в чём был уверен до конца.

— Ахмед. — Её лицо развернулось над столом: тёплое, безупречное, отдохнувшее лицо человека, который распоряжается чужими открытиями из уютного кабинета за полгаллактики отсюда. Китель Консорциума был застёгнут под горло, безупречно, как всё на ней. На отвороте тлел голо-меда-

льон — чьё-то маленькое лицо, которое он старался не разглядывать и всё же разглядел когда-то и с тех пор старался забыть. — Мне переслали твою красную строку. Поздравляю. Ты снова нашёл невозможное. У тебя талант к невозможному, Ахмед, всегда был.

— Я нашёл ошибку, — сказал он. — Либо в датировке, либо в мире. Пока не знаю, в чём, и, пока не знаю, я бы не поздравлял.

— Или ты нашёл то, о чём мы говорили не первый год. — Она подалась ближе, и лицо её выросло над столом, тёплое и хищное разом, как у всякого, кто искренне желает тебе добра ради своей выгоды. — Древний Якорь. Не наш. Чей-то ещё, поставленный до нас, задолго до нас. Ты понимаешь, что это значит для программы? Если реставрация — не наше изобретение, а наследство. Если кто-то делал это раньше. Если мы не авторы, а всего лишь читатели чужой книги.

— Марго.

— То мы нашли не инструмент, — сказала она, не слушая, потому что уже разговаривала не с ним, а с Советом, с историей, с собственным будущим бюстом в вестибюле Консорциума, — а язык. Целый мёртвый язык, на котором записаны воскрешения. И ты, Ахмед, единственный из живущих, кто на нём читает.

Он молчал. Внизу, под тонким полом модуля, спал раскоп, и в спящем раскопе, в трёх тысячах лет глубины, что-то держало один-единственный миг, не отпуская его уже трид-

цать веков, — держало терпеливо, без усилия, как держит камень, а не рука.

— Я хочу его послушать, — сказала Марго, и голос её стал мягким, как становится мягким голос у того, кто предлагает ребёнку сладкое перед горьким лекарством. — Разбуди пробный Якорь. Наш, маленький, на твоём полевом контуре. Пусть отзовётся на древний — на одно дыхание, на один слой, на один вздох. Ты сорок лет датируешь мёртвых, Ахмед. А теперь послушай, как один из них дышит. Разве тебе самому не любопытно? Тебе, из всех людей?

— Активировать Якорь на живом раскопе, — произнёс он ровно, чтобы услышать это своими ушами. — Рядом с людьми. Рядом с моей дочерью.

— Рядом с тобой. С лучшим, кто у нас есть, под твоим личным присмотром. — Она улыбнулась, и улыбка была искренней; в этом и был весь ужас Марго — она никогда не лгала, она просто хотела слишком многого и называла это любовью к прошлому. — Ахмед, ты подарил человечеству конец забвения. Величайший дар со времён огня. Позволь хоть раз и себе что-нибудь получить обратно. Хоть однажды. Ты столько отдал.

Медальон на её отвороте моргнул, поймав свет, и он всё-таки разглядел лицо — детское, лет семи, застывшее в вечном смехе, в вечном полудне, которого у этого ребёнка, он знал, больше не было нигде, кроме этой броши. Он отвёл глаза.

— Я подумаю до рассвета.

— Только до рассвета, — сказала Марго, и мягкость сошла с её голоса так же ровно, как приходила. — Фиксация по сектору идёт по графику, а график не мой и не твой. Окно у тебя одно, Ахмед. Одно окно и одна ночь. Распорядись ими.

Связь свернулась, и лицо её схлопнулось в точку и погасло. Ахмед остался один в тёплом жёлтом пятне света, посреди мёртвого мира, под неприличным небом, и тогда — как делал каждую ночь и стыдился каждую ночь — он вынул из нагрудного кармана плоский диск и положил на стол перед собой.

Амира поднялась над диском в полроста, вполоборота, смеясь чему-то за краем кадра — он давно забыл, чему; забыл в тот самый год, когда ещё помнил, и с тех пор не мог простить себе этой первой, крошечной, необратимой потери внутри большой. Он не трогал запись. Не говорил с ней. Не звал по имени. Он не был безумцем и знал, что это свет, а не жена; он датировал мёртвых сорок лет и умел отличать. Он просто держал её в поле зрения ровно десять минут, как держат озябшие ладони у огня, зная, что тепло ненастоящее, что это всего лишь картинка тепла, и что настоящего уже не будет — ни за десять минут, ни за десять тысяч лет.

Он превратил своё горе в науку, а науку — в дар всему человечеству, и всё равно каждую ночь грел ладони у десяти минут мёртвого света и каждое утро гасил его и прятал в карман, ближе к сердцу, чем следовало бы разумному че-

ловеку.

— Ты бы сказала — не буди, — прошептал он картинке.
— Ты всегда говорила: не буди спящее, Ахмед, у спящего есть причины спать.

Амира смеялась за краем кадра и молчала, и молчание её было единственным, что в ней осталось настоящего, потому что оно было её отсутствием, а отсутствие не подделаешь.



Лейла не спала. Он понял это по узкой полосе света под дверью её отсека и вошёл без стука — они давно жили слишком тесно, на слишком многих кораблях и в слишком многих модулях, для стуков.

Она сидела, поджав под себя ноги, перед раскрытым архивом миссии, и по её лицу, снизу вверх, бежали чужие голубые строки, отчего казалось, что она стоит по горло в светящейся воде. Она не обернулась. Это было хуже всего — что она не обернулась.

— Ты сдал её, — сказала Лейла.

На проекции стояло имя, которого он не слышал вслух много лет и старался не слышать даже мысленно. Доктор Ирма Соколова. Рядом — протокол слушания, гриф Консорциума, дата, список подписей, длинный, как список погибших. Его подпись стояла первой. Он помнил, какой ручкой её ставил. Он помнил, что рука не дрогнула, и не мог себе этого простить сильнее всего остального.

— Ты был её студентом. — Голос Лейлы был тих, и отто-

го страшнее любого крика; она унаследовала это от матери — умение опускать голос там, где другие повышают. — Она тебя вырастила. Она научила тебя читать пепел. А потом она сказала, что твои Якоря — не спасение, что это ловушка, что реставрация в конце концов сожрёт больше, чем сохранит. И ты. — Лейла наконец подняла на него глаза, и в них стояли те самые голубые строки, чужая смерть, отражённая в живом лице. — Ты назвал её больной. Своей рукой. Первой подписью. Не последней, не в середине, где спрятаться, — первой.

— Она и была больна, — сказал он, и слова вышли сухими, гладкими, заученными; он повторял их себе сорок лет и отшлифовал до блеска, как шлифует галькой море. — Она говорила невозможное. Она говорила, что Якоря уже стояли. Что мы не изобрели их, а разбудили. Что кто-то приколот этот мир и тысячу других задолго до нас, что вся мёртвая история галактики — не история, а экспозиция, и что мы лезем руками в чужой работающий механизм, не понимая, чем он питается и что перемелет. Тогда, Лейла, это звучало как бред обиженного гения. Как месть ученице, которую обошёл ученик.

— А сегодня?

Он не ответил. Красная строка стояла у него перед глазами, тонкая, дрожащая, невозможная. *Якоря уже стояли.* Три тысячи двести лет.

— Сегодня, — сказала Лейла за него, потому что была его дочерью и умела читать не только пепел, — это звучит как

датировка. Точная. С погрешностью в твою подпись.



Он дал команду на рассвете.

Он сказал себе, что это наука. Он всегда говорил себе, что это наука, и почти всегда был прав, и оттого так легко ошибался в тех редких случаях, когда был неправ. Он сказал себе, что послушать — не значит разбудить; что один слой, одно дыхание, один вздох — это осторожность, а не гордыня; что осторожный человек как раз и обязан выяснить, что за красная строка лежит под ногами его дочери. Он выстроил эту лестницу разумных ступеней за ночь, ступень к ступени, и к рассвету поднялся по ней туда, куда с самого начала хотел подняться.

Он стоял на кромке раскопа, и стилус лежал в его ладони — тёплый, знакомый, стёртый по грани сорока годами хватки, единственный инструмент, которым он умел и читать эти подписи, и, если понадобится, писать их. Немногие знали, что им можно писать. Он знал. Внизу техники увели дронов на дальний, безопасный контур; их металлические крылья блестели в первом свете, как насекомые. Лейла стояла в двадцати шагах, у дальней стены котлована, скрестив руки на груди, и не смотрела на него — и это было её единственное согласие и весь её протест разом, вся она, вложенная в один отведённый взгляд.

— На один слой, — сказал Ахмед в общий канал, и голос был ровен. — На одно дыхание. Слушаем и глушим.

Он повёл стилусом. Пробный Якорь на его полевом контуре отозвался мягким уколом тепла, узнал руку, потянулся вниз, в глубину, в три тысячи лет, ища древнего собрата — чтобы послушать, только послушать, как один мёртвый слой делает один вдох.

Земля ответила раньше, чем он закончил.

Не через секунду. Не с той стороны. Не мягким эхом, которого он ждал. Из самой глубины раскопа, из-под трёх тысяч лет пепла, поднялся гул — низкий, вспарывающий, идущий не через воздух, а через кость, через зубы, через старую боль в коленях, — будто мир, три тысячелетия задерживавший дыхание, наконец втянул его весь, разом, жадно. И рябь над котлованом, та самая старая рябь, которую он всю жизнь разучивался замечать и заметил только вчера, вдруг стала видимой, плотной, вещественной — и встала стеной.

— Нет, — сказал Ахмед, и разум его работал ясно и бесполезно, как работает прибор, выдающий верную дату катастрофы. — Рано. Ещё рано. Я не дал полной команды.

Стена не слушала команд. Она никогда их не слушала. Она ждала три тысячи лет не команды, а всего лишь предложения.

Она пошла на них.

Часть вторая

Позже он назовёт это фронтом. У всего должно быть имя — он верил в это всю жизнь, он на этом построил науку, — а у этого имени не было, и, когда всё кончится, он придумает слово, сухое и точное, чтобы держать в нём ужас, как держат насекомое в спирте. Фронт. Хорошее слово, профессиональное, с ним можно писать отчёты. Но в первый миг у стены не было имени, и оттого она была чистым, беспримесным ужасом, какого он не знал с той, другой комнаты, с той, другой постели, где имя было, и было коротким, и звалось Амира.

Фронт шёл от центра раскопа наружу, ровным кольцом, со скоростью бегущего человека — не быстрее, и в этом была особенная, издевательская милость: он давал шанс бежать и отнимал его расстоянием. И там, где кольцо проходило, время текло не туда.

Пепел поднимался. Не вздымался ветром — ветра не было, — а поднимался осмысленно, слой за слоем, снизу вверх, возвращаясь домой, туда, откуда упал три тысячи лет назад. Опрокинутые колонны из спёкшегося стекла вставали, собирая себя из тьмы осколков, и осколки летели вверх и внутрь, к своим местам, беззвучно попадая в паз, точно, как попадает в память забытое слово. Улица под пеплом расправлялась, как расправляют скомканный лист. Тень чужого шпиля на дальней стене наливалась веществом — и вот это бы-

ла уже не тень, а камень, и не шпиль-палец, указывающий в никуда, а башня, и на башне, этаж за этажом, снизу вверх, загорались окна.

Мёртвый город возвращался в жизнь — взрывом, обращённым вспять, катастрофой, прокрученной назад до самого начала, до того невозможного кадра, где ещё всё цело.

И воздух горел. Ахмед видел это и не мог вместить: воздух над фронтом шёл огнём, но огонь всасывался в себя, пламя складывалось обратно в искры, искры — в жар, жар — в невидимое дрожание, в ничто, — и от этого обратного, глотающего себя горения стоял звук, которого не должно быть в мире, звук вдоха, растянутого на всю равнину, вдоха длиной в три тысячи лет.

Это было красиво. Он возненавидел себя за то, что успел это заметить.

— Лейла! — Он не услышал собственного крика; гул съел его. — Лейла, назад! Не трогай фронт! Не смотри на него, беги!

Она была у дальней стены. По ту сторону кольца.



Он побежал.

Сорок лет тела, которое умело только сидеть на корточках, склоняться над слоём и вести стилусом ровную линию, — сорок лет осторожности, отложенной про запас, — и он потратил их все за один раз, разом, побежав через оживающий раскоп навстречу дочери, наперерез расходящейся сте-

не. Земля под ним дрожала и молодела. Пепел бил в лицо, поднимаясь, тёплый — впервые за три тысячи лет тёплый, — и в этом тепле было что-то нежное и непристойное, тепло чужого воскрешения, до которого ему не было дела, потому что по ту сторону тепла стояла Лейла.

Она увидела его. Он запомнит это навсегда, до последнего своего смертного дня он будет носить это в себе, как носил диск у сердца: она увидела его — и не испугалась. Она шагнула ему навстречу. В этом одном шаге было всё, что он в ней любил и чему завидовал: она никогда не пряталась. Ни от живого, ни от мёртвого, ни от отца, ни от правды. Она пошла навстречу стене, потому что по эту сторону стены был он.

Над ней вставал карниз.

Три тысячи лет назад он рухнул с горящего здания, раздробившись о мостовую на сотню кусков, — а теперь собирал себя из этих ста кусков и поднимался на своё место, тонна возвращающегося камня, восходящая туда, откуда упала, спокойно и неотвратимо, как восходит в свой срок мёртвая звезда в чужом небе.

— Пап, — сказала Лейла. Он не услышал — он прочёл это по губам, по их знакомому рисунку. — Воздух гори...

Фронт прошёл сквозь неё.

Карниз встал. Камень занял своё место в стене — идеально, паз в паз, как не стоял тридцать веков, как был задуман древним умершим зодчим, — и на его нижней кромке, там, где он на пути домой коснулся её виска, осталась Лейла.

Она опускалась медленно, будто раздумывая, будто при-саживаясь отдохнуть посреди трудного дня. Прядь выбилась из-под уха и упала на щеку. У виска, там, где прошёл камень, темнело — не кровь ещё, а только обещание крови, тень, ак-куратная, почти деликатная, и на лице её не было боли, лишь лёгкое удивление, то самое, с каким она встречала всякую новость, которую не успела предвидеть.

Гул прошёл дальше, наружу, к горизонту, и за ним, сле-дом, упала тишина — плотная, вещественная, восстановлен-ная тишина ожившего города, тишина, в которой где-то на-верху, в новых окнах, горел ровный чужой свет и работали механизмы, простоявшие тридцать веков. Мир вокруг был жив. Только у подножия стены сидел старик и держал в ла-донях голову дочери, и голова была тяжёлой — тяжелее кам-ня, тяжелее мира, тяжелее всех трёх тысяч лет, — и он не звал на помощь, потому что знал датировку. Он умел читать концы. Это было единственное, что он по-настоящему умел, и сейчас, в первый раз, он проклял это умение, потому что оно не оставляло ему надежды, ни на секунду, ни на волос. Этот слой кончился. Он прочёл его сразу, без прибора, всем телом.

— Нет, — сказал он тихо, разумно, отчётливо, как гово-рят с прибором, выдавшим ошибку, которую нужно спокой-но исправить. — Нет. Не этот. Не этот слой. Датируй заново. Ты ошибся.

Прибор внутри него не ошибался никогда.



Фронт дошёл до горизонта, качнулся — и пошёл обратно.

Ахмед почти не заметил движения кольца; он сидел на ожившей мостовой чужого города, спиной к его новому свету, лицом к мёртвой дочери, и потому увидел всё с самого начала, с первого, крошечного, невозможного движения.

Тень крови у виска дрогнула. И втянулась.

Она уходила вспять — так же, как уходил вспять пепел, как складывалось пламя, как весь этот проклятый воскресающий мир: рана закрывалась, собирала себя, кромка тянулась к кромке, ткань к ткани, будто чья-то терпеливая рука отматывала последние секунды назад, кадр за кадром, к тому мгновению, где ещё всё цело. Синева сошла со скулы. Кожа у виска стала гладкой, ровной, целой — такой, какой была за вздох до карниза, до фронта, до его команды, до всего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.